(Окончание. Начало в № 4/2017 и № 1/2018 «Нового Енисейского литератора»)

При последних словах директор несколько задумывался, строгость как-то смягчалась в его лице, и он оставлял «гвоздёвскую» шею в покое. Было совершенно непостижимо, чем не нравился затылок директору, при чём здесь хозяева и кучера, но какое-то понимание сословного пренебрежения к людям услужливым и льстивым, а именно это следовало видеть в ямщиках и извозчиках из директорских нотаций, приходило тогда в сознание и определяло дальнейшее понимание сословных отношений. Шея самого Юрия Николаевича никогда не знала бритвы и потому всегда неприятно кучерявилась зарослями редких седых волос из-под вечно потёртого воротника рубашки. Но весь её такой живописный вид почему-то показывал, как нужно непримиримо относиться к хозяевам, будучи на месте ямщика или кучера.

Сам же он потом всю жизнь любил чисто выбривать шею, но всегда помнил, что «так делали лакеи», и от

непонимания какой-либо связи между тем и другим с чувством досады вспоминал и Гвоздя, и Юрия Николаевича. Со временем лишь уяснил, что в жизни глупо небритой шеей выказывать свою сословную неприязнь людям, находящимся по положению выше, но сзади. Просто нужно чаще оглядываться и смотреть им в глаза. Правда, вот в последнее время он забыл о бритве вообще и, глянув однажды в зеркало, почти не удивился изрядной бороде. Поворачиваясь то одной, то другой щекой, лишь безразлично проговорил:

— Надо же, белая...

Вчера, возвращаясь на электричке из пригорода, куда в последнее время беспричинно и бесцельно сбегал из города, он стоял в проходе, поскольку мест не было, а тамбурная площадка была битком набита школьниками. В этой шумной разноликой толчее почему-то именно к нему подошла невзрачная женщина с конопушками вокруг носа и предложила сказать что-нибудь в микрофон, за которым у неё волочился местами скрученный изолентой двойной провод. Она выглядела совершенно нелепо в этой дорожной кутерьме со своим микрофоном. Её совершенно не замечали, но она была упряма в выборе собеседника и почему-то именно ему совала в руку потёртый маленький микрофон с грязным поролоновым наконечником.

— А что говорить? — спросил он, почему-то не отказываясь, но и не понимая, чего же от него хотят.

— Ну, о чём бы вы сами хотели. Например, где вы сегодня отдыхали? — как-то безразлично, ни на чём не настаивая, просит она, перекладывая микрофон в его вспотевшую ладонь.— Только держите ближе, вот так, почти к губам. Так будет лучше слышно в таком бедламе.

Он взял микрофон, чуть заинтересовавшись, поднёс ко рту и тут же почувствовал, как тесное вокруг до сей минуты пространство вдруг стало расширяться, и буквально через минуту он, уже один, оказавшись у окна, неловко оглядывался на освободившиеся места. Даже женщина отстранилась, до этого прижатая толпой вплотную к нему.

— Ну, ну! — подбадривала она со стороны.

— Еду... вот, домой. Бродил, знаете ли, там, у реки, так... без дела. А вы корреспондент? — как-то сконфузившись, спросил он, соображая, о чём же это нужно сказать.

— Да...— тем же бесстрастным голосом ответила женщина, уводя в сторону взгляд.

Пытаясь быстро вспомнить что-либо, он понимает, что все его усилия тщетны, но всё-таки силится напрячь память. Слова и мысли словно выскочили из головы, лишь дурацкая строка из забытой хорошей песни так и лезла на язык: «Там вдали за рекой...» Понимая, что будет совершенной глупостью петь это сейчас, он, удивлённый беспомощностью своей, оправдывается в невольной заминке:

— Надо же. Я ведь умею... и даже стихи иногда пишу.

— Бывает. Но вы попробуйте,— ничуть не разочаровываясь, словно ожидая подобного, говорит женщина и совсем отходит в безликую, по-прежнему шумную толпу.

«Я же хотел что-то сказать и наверняка знал о чём. Ну же, ну!..» — заставлял он себя, злясь от бессилия и немоты. Но мысли совсем покинули голову, ни одна строка из написанного так много и, как ему казалось, довольно хорошо так и не пришла на память. Отвернувшись к окну, он ещё минуту-две, ставшие вдруг долгими и невыносимо тягостными, словно год или два, постоял, бессмысленно и отрешённо вглядывался в проносящееся за окном пространство, потом решил вернуть микрофон. Толпа, освободившая ему место, казалась совершенно безразличной ко всему и была озабочена своим малопонятным шумным существованием. Поискав женщину глазами и не найдя, он громко позвал:

— Возьмите свой микрофон...

— Давайте...— тотчас отозвалась из толпы женщина.

Он не увидел её лица, но микрофон ушёл из его рук в толпу, и только теперь он вдруг совершенно чётко припомнил одно своё хорошее стихотворение и теперь жутко пожалел, что минуту назад не сумел выдавить из себя ни слова.

...По большому счёту, жизнь должна была бы быть служением, сознательно определённой позицией. Ему были вполне понятны убеждения людей, альтруистски направленных в жизни, воспитанных в традициях нестяжательства и бескорыстия. Трудись в меру, пользуйся минимумом, избыток отдай слабому — наипростейшие принципы такого мировоззрения. Но вся эта простота упирается в вопросы: а что значит в меру, а где этот самый минимум, и кто есть

слабый?.. Среди людей очень часто самый слабый и обделённый судьбой и природой оказывается в должный час самым сильным и великим. И ещё, пытаясь увязать бескорыстие и нестяжательство в логику производства, мысль находит продолжение своё в том, что если абсолютно все будут жить согласно этим принципам, наступает упадок производства. Зачем его рост и прогресс, если все довольствуются малым и постоянно упражняются в ещё меньшем? Аскеза, отшельничество и неприемлемость труда других на себя в таком понимании жизни желанны и святы. Но в этом всегда видится какой-то край, пропасть, возврат к дикости и хаосу.

В противовес этой позиции выступает так называемое буржуазное мировоззрение — стяжать и укреплять всеми возможными способами индивидуальное благополучие, подчиняясь якобы во всём законам природы и следуя им во всём. В человеческом обществе к этому располагает общественный труд, общественное производство. Используй его, умножай его, любым способом заставляй других работать на себя, присваивай эту работу до бесконечности, ибо этим самым ты стимулируешь этот труд, устремляешь его к развитию и возрастанию. В таких условиях производство действительно устремлено к прогрессу любым способом, в том числе и нещадной эксплуатацией природных и человеческих ресурсов. И вот тут распознаётся иллюзия благополучия и процветания: какой же может быть рост производства и благосостояния в условиях максимально гипертрофированной потребности всех и всего именно тогда, когда эти все ресурсы-то и заканчиваются?.. Определиться же в своей собственной позиции у него почему-то никогда недоставало настойчивости и должного понимания своего места в этой круговерти быта и суеты.

...Добираясь с электрички домой, он остановился и плакал посреди улицы, глядя на беспризорного мальчишку годов двенадцати, разбитого детским параличом, но упорно поспешающего за здоровой, по виду явно детдомовской ребятнёй. Природа безобразнейшим образом поиздевалась над его существом, повыворачивав всё, что можно было вывернуть в этом тщедушном, измождённом теле. Два дружка того калеки, перебежав дорогу на красный свет, солидарно поджидали его на другой стороне улицы. А паралитик, кривляясь и еле-еле выбрасывая

одну ногу вперёд, вторую, как в замедленном кино, подтягивая за собой, при этом раскидывая руки-плети в разные стороны, как раненая птица крылья, наклонялся опасно в одну сторону до невероятного низко и противоестественно, почти до падения, словно пьяный ополоумевший мужичонка, вот-вот норовя со всего маху свалиться под колёса несущихся машин. Глядя в спины уходящих мальчишек, он стоял безмолвно, словно оцепенев от обычной городской картины. У него текли слёзы беспомощности и жалости, разрывалось, покалывая, сердце.

Вечером того дня в гости нагрянул давний детдомовский приятель.

— Ба, старик!..— удивился с порога.— Ты в этой бороде прямо Конёнков какой-то...

В руках у приятеля помятый полиэтиленовым пакет, в котором, как обычно, должна была быть бутылка препротивнейшей водки да пара приличных лимонов, вмиг заполняющих тесную квартирку резким дразнящим запахом. Иногда, месяца в три разок, приятель имеет обыкновение сбегать из дома, от семьи, и тогда они один на один ведут долгий ночной разговор обо всём и в то же время ни о чём. На этот раз вместо одной бутылки в пакете было... две. Как-то так само собой заговорили о беспризорниках на улицах.

— В наше время, при социализме, кажется, такого не было...

— Этот твой социализм!..— приятель, быстро хмелея, всегда горячился.

— Наш...— он же всегда мягко пытался сглаживать разговор, если намечалось какое-то обострение.

— Не придирайся к словам. Пускай, наш социализм выдавливал труд из всего общества в одну большую кучу, из которой всем никогда не хватало. Из кучи лицемерно до отвала пользовались единицы, под прикрытием глобальных забот о мире, об обездоленных в том числе, о прогрессе...

— А что... не было прогресса?

— Того прогресса хватило лишь на пару войн. Одну — со своим же народом, и вторую — с себе же подобным монстром. И обе войны — за главенство в мире. А может быть, в мире нужно просто жить, а не главенствовать? Жить на своём месте — букашкой, муравьём...

— Удавом или ягуаром...— он чуть-чуть язвил приятелю.

— Да, да! Чёрт возьми! Но на своём месте!..— продолжал горячиться тот.

— Пожирая всё и вся, отстаивая это место?..

— Так было всегда! Это естество...

— А человеческое естество?

— Человеку дано пытаться понимать всё это, сдерживаться, находить умеренность, и только! Силой ограничивать — это против естества. И не видеть естественного выделения особей, не усматривать отличия и разницы во всём — это тоже против естества,— приятель, кажется, успокаивался сам.

— А подогревать в себе удава, культивировать его в себе — это ли не требования природы?

— Её требование в том, чтобы заботиться о ближних. И если все будут следовать этому, всё будет как надо. Повсеместная забота о ближних в конце концов складывается во всеобщее благополучие.

— Ты упрощаешь.

— Как раз наоборот. Это в животном мире забота о ближних складывается в обособленность вида. А мы ведь в поте лица да кучей... в работу, вот тогда только живём. Ты вот сам возьмись дело тащить! Что, кишка тонка?! Языком только можешь советовать, критиковать. Это вы все умеете! А ты впрягись сам до надрыва, до беспамятства, до инфаркта,— приятель ни с того ни с сего заводился.

Он же спокойно, не повышая голоса, как бы оправдывался:

— Я просто живу, работаю... по мере сил, тех, что мне дала природа. Не излишествую, не эксплуатирую...

Лучше бы он этого не говорил.

— Да-а! — приятель почти рычал.— А то... что ты нет-нет да прихватываешь от общества, так сказать, плоды цивилизации: белый хлебушек, маслице, сахарок, водочку вот эту самую!.. Это ведь добыто трудом тех вот самых эксплуатируемых, якобы только... мною. А если они по-другому не умеют хлеб добывать?!.. Только из-под палки, только в рабстве, чёрт подери, без слаженности и единодушия! Когда их нужно собирать в один работающий механизм, собирать насильно!..

— Ну, это ты перегибаешь. Люди собираются в массы и трудятся совсем не потому, что твоё

высокопревосходительство так задумало. Первопричиной здесь, как и тысячи лет назад,— голод, потребность кормиться. И, слава Богу, сообразили, как работать сообща, вот только делить не умеем по справедливости...

Тут приятель совсем переходит на крик:

— Ну да! Ваше благороднейшее чистоплюйство не желает мараться в дележе! Как же, их благородию не подобает! А сытно жрать подобает? Вещички вот закордонные носить подобает? Квартиру обставить на евроманер подобает?! Только позвольте спросить ваше глубокоуважаемое чистоплюйство: откуда это всё берётся? Может быть, из воздуха, из ничего, от Бога?.. Нет уж, извините! От Бога у вас голый сраный зад, и только! Даже те цыплячьи мозги, которые вы так великозначно зовёте интеллектом, увы, не от Него. Да-с, сударь, не от Него! Они у всех друг от друга, от мамки с папкой, что первыми приучат вас свой этот... самый зад держать мало-мальски в чистоте. Мозги у нас от улицы, от школы, от дурацких институтов с... университетами, от труда, чёрт возьми, от работы. В том числе и от той, которой я сегодня грешно и увлечённо занят по самое горло!..

Припомнился мальчишка-инвалид на улице. Почему-то захотелось рассказать о нём приятелю.

— Я тут решил пацана бездомного... пригласить,— последнее слово ему самому не понравилось, и он поправился: — Взять на воспитание.

— Ты обалдел совсем? Сам на сухом пайке с горем пополам... и ещё оглоеда приведёшь. Мне такая добродетель непонятна.

— А детдом помнишь?..

— Нет! — зло как обрезал приятель.

— Врёшь...

— Не вру, там была другая жизнь,— помолчав, тихо добавил: — Не моя...

— И опять врёшь. Жизнь всегда одна — другой не бывает.

— Ещё как бывает. Я её, ту... что в детдоме, вычеркнул. Как сон... дурной. В работу переварил, в труд, который человеком делает, понял?!..

Потом какими-то блатными намёками сильно захмелевший приятель обмолвился о связи с каким-то сомнительным нелегальным бизнесом:

— Моим клушкам уже не хватает того, что есть. Как в прорву! Вот соблазнился бандитским...

— Ты же говорил, что всё будет по-честному!

— Мало! Это тебе вот как-то хватает, никуда не лезешь...

— А что мне? Один на один с душой...

Так они могли долго говорить, почти не прислушиваясь друг к другу и в конце концов забывая о предмете разговора вообще. Когда это случалось, они разом смолкали, некоторое время борясь с хмелем. Затем выпивали по новой порции спиртного и почти трезво соглашались на том, что при таком подходе к спору, к событиям и... вообще к жизни недалеко и до того, что просто-напросто «поедет крыша».

Поздно утром приятель, опомнившись, наскоро побрызгал в помятое лицо холодной водой и молчком виновато убежал... опять месяца на три.

Нужно признать, странности приятеля, помимо его отлучек от красивой и ещё молодой жены, на том не заканчивались. Он руководил солидным производством стирального порошка, был, что называется, состоятельным малым и поставил на ноги двух дочерей, удачно пристроив их замуж. Но в последний год жаловался на то, что в семье его не понимают и лишь работа спасает от рутины и суеты. Он признался как-то в том, что так вошёл в роль руководителя, мановением руки которого труд многих людей сливается в фантастическую реку товарного производства, что иногда чувствовал в себе умение остановить даже автомобильный поток при переходе шумной многолюдной улицы. И когда действительно поток останавливался на красный свет светофора, он невольно ловил себя на ощущении всемогущества. Понимал, что машины останавливает заведённый кем-то порядок, или, ещё вернее, красный глаз одинокого стража этого порядка — светофора. Но где-то изнутри подпирало чувство величия и непомерной гордости за своё тайное умение зажигать либо гасить красный свет. Он не понимал, да и не хотел понимать, кем и когда заведён порядок, просто знал: вот поднимет руку — и загорится красный свет, а спустя некоторое время нужно опустить руку — и загорится зелёный. И не беда, если поднимаешь или опускаешь руку невпопад: светофор всё равно горит то красным, то зелёным, и машины то едут, то

останавливаются. Все сами знают, что делать. Но они не знают, что управляет всем этим... он, вот этой всемогущей рукой.

Признание приятеля было во хмелю сумбурным и малообъяснимым, там не менее давало повод обратить внимание на его странности...

...Этим летом я бываю иногда в одном заветном местечке вдали от городской суеты. Просто валяюсь на траве, слушаю высокого жаворонка и долго гляжу в серую медленную воду приличной здешней реки. На высоком берегу, чуть в стороне от обрыва, виднеется большой шалаш, серый и мрачный, с рёбрами нетёсаных, избитых и вылизанных ветрами сучковатых жердей, собранных вверху ржавой проволокой в один рогатый узел, с облезлыми боками из выгоревших на солнце, небрежно набросанных снопов жёсткой остистой травы. Вдоль берега полосою, повторяя здесь крутой изгиб реки, на добрых полтораста метров — ровное арбузное поле, протянувшееся застиранной дождями блёклой косынкою к ближней рощице гладколистного трескуна, перемешанного с черёмухами да низкорослой калиной. Чуть далее вверх по реке — небольшая деревня с десятком тихих дворов. Над головой поясом от горизонта — синее, до невероятности чистое небо и словно расплавленное в середине его, почти белое, без каких либо границ, солнце. Внизу под обрывом, привязанная цепью за большой деревянный кол, колышется небольшая лодка с чёрными смолистыми боками. И когда с того берега раздаётся чей-либо голос: «Эй, перевозчик!» — из шалаша показываются друг за другом высокий сутулый старик и больной мальчишка. Я могу ошибаться, угадывая их возраст, поскольку в одном мешает его большая, совершенно белая борода, а в другом — детский паралич. В прошлом году здесь был другой человек, а нынче вот этот дед и паралитик, что, как бы кривляясь, еле-еле выбрасывает на ходу одну ногу вперёд, вторую, как в замедленном кино, подтягивает рывками за собой, при этом раскидывает руки-плети в разные стороны, как раненая птица крылья, наклоняется опасно в одну сторону до невероятного низко и противоестественно, почти до падения, словно пьяный ополоумевший мужичонка...

Приморский край